

о продолжателях Толстого, а не о нем самом — но продолжатели вообще обычно последовательнее своих учителей, часто требуя от тех той же моральной цельности, которой Бояновска требует от Толстого, раз уж «ниспровержение основ культуры было сутью позднего Толстого». Но Толстой толстовцем не был, он никогда не удерживался в рамках защиты каких-либо устойчивых форм общежития или, наоборот, не приспособленных к исторической жизни моральных абстракций. Поэтому с идеей земледельческой общины в его сознании конкурировала идея странничества как неостановимого поиска и движения вперед, не привязывающих человека к отдельной местности и образу жизни. Его система представлений все время смещалась, тем более что он, повторим, исходил из того, что «представления» обманчивы. Мы полагаем, что воссоздание его принципов мышления, связей между миром политическим и миром духовным в его сознании скорее приблизит нас и к пониманию *объективной* роли Толстого в истории, чем требование от него абсолютной последовательности в суждениях и действиях или, наоборот, ловля его на все новых «противоречиях».

Ольга Майорова

(Мичиганский университет, Энн Арбор)

Был или не был?

Был ли автор «Хаджи-Мурата» колониальным землевладельцем? Эдита Бояновска задает этот неожиданный, если не вызывающий, вопрос и отвечает на него утвердительно, приводя немало убедительных аргументов. Как именно она обосновала свою позицию, в чем ценность ее исследования и какие возможны альтернативные ответы на заданный вопрос — об этом мои беглые заметки на полях ее интереснейшей статьи.

Читать Бояновскую — увлекательное занятие. Отточенные формулировки, смелые предположения, остро поставленные вопросы и свежий, мало разработанный в связи с Россией подход к имперской истории. Я имею в виду изучение поселенческого колониализма, особой практики имперского господства, с его специфическими дискурсивными тропами, с необычными стратегиями легитимации и, главное, с его обманчивой аурой «невинного», внеимперского феномена. Цитируя исследователей поселенческого колониализма (американского и австралийского в первую очередь), Бояновска справедливо замечает, что эта форма имперского господства сопротивляется постколониальной деконструкции куда упорнее, чем кровопролитное завоевание чужой земли. Не удивительно, что за исключением Вилларда Сандерлэнда (Willard Sunderland) и немногих других историков, на которых Бояновска широко опирается, о российском поселенческом колониализме до недавнего времени писали скупо.

Бояновской удалось внести весомый вклад в эту нарождающуюся историографию. Она мастерски приложила новый подход к богато документированным событиям из жизни Толстого — событиям, ставшим, как она показала,

важной вехой в его интеллектуальной эволюции. Для меня статья Бояновской — это прежде всего ревизия сложившихся представлений о Толстом-антиимпериалисте, чтение его текстов сквозь призму поселенческого колониализма. Хотя некоторые соображения Бояновской мне кажутся спорными (об этом ниже), продуктивность — и перспективность — ее подхода не вызывает сомнений. Будучи основательно проработанной деконструкцией привычной парадигмы, ее статья предлагает новую точку зрения. Такого рода исследования — здоровая и рутинная академическая практика. Но, учитывая тематику статьи, она особенно востребована сегодня. Запрос на постколониальные методы анализа и деконструкцию интеллектуального наследия российского империализма сейчас ощущается, наверно, острее, чем когда-либо.

Статья обсуждает биографические обстоятельства, произведения и идеи Толстого, вызванные к жизни его покупкой башкирских земель в Самарской губернии (1871, 1878), и начинается с обращения к самому значимому в этом контексте рассказу писателя «Много ли человеку земли нужно?» (1886). Вступая в диалог с классиком, Бояновская выносит свой основной вопрос — был ли Толстой колониальным землевладельцем? — в заглавие статьи, а для названия одного из своих разделов прибегает еще более толстовский вопрос: много ли тульскому князю земли нужно? Подобно тому, как на вопрос Толстого отвечает трагическая судьба Пахома, протагониста рассказа, погибшего в погоне за дешевой землей в башкирской степи, так и на вопросы Бояновской отвечает выгодная покупка Толстого, его самарское имение, которое вскоре обернулось для него моральным крахом, комплексом вины и семейной драмой. Бояновская эффектно и убедительно проводит параллель между Пахомом и Толстым и рассматривает земельные приобретения обоих в контексте истории хищнического захвата башкирских земель в пореформенную эпоху. При этом она ясно показывает, что Толстой проявлял определенную глухоту к положению коренного населения края: несколько лет спустя, когда он пришел к отрицанию права собственности на землю, его мучила вина отнюдь не перед башкирами, у которых отняли их пастбища, но перед русскими крестьянами-переселенцами, работниками на этой земле. Самым замечательным в этой статье мне показалось то, как Бояновская высветила весь самарский сюжет хозяйственной жизни Толстых и развеяла миф об их степном имении как о пасторали, скромном хуторе, купленном для лечения башкирским кумысом. Исследовательница раскопала неприглядные детали этой покупки, просчитала огромную прибыль, извлеченную семьей, и ясно показала, что история самарского поместья — самой выгодной инвестиции в жизни Толстого — вписывается в рамки колониального обогащения и эксплуатации подвластного народа.

Как ключ к механизму имперского господства, к политике обезземеливания и дискриминации башкир — это, мне кажется, образцовое исследование. Как ключ ко взглядам и произведениям Толстого — это тоже во многих отношениях продуктивная работа. Но вот как раз в связи с интерпретацией его произведений в контексте поселенческого колониализма у меня возникли вопросы.

Прежде всего о том, какое место в построениях Бояновской занимает «Анна Каренина». Как известно из переписки Толстого и из других биографических источников, в середине — конце 1870-х годов он идеализировал переселенческое движение. В освоении огромных «незанятых» пространств «на

востоке» он видел историческое призвание русского народа и собирался писать роман о «завладевающей» силе русского крестьянства (новая версия «Декабристов»; см. дневниковую запись С.А. Толстой, 3 марта 1877 года). Обращаясь к «Анне Карениной», Бояновска цитирует сходные рассуждения Левина о «совершенно особенном» взгляде русского народа на землю. По мысли Левина, «этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на востоке» (XIX, 255). Комментируя этот фрагмент, Бояновска делает, как мне представляется, слишком вольный вывод: «Резко критикуя такие механизмы имперской экспансии как военный авантюризм или капитализм, роман возлагает надежды на якобы мирную аграрную империю под присмотром поместной аристократии». Я не нахожу в тексте романа ни одного подтверждения тому, что его протагонист или автор отводят поместной аристократии хоть какую-либо роль в колонизации «неосвоенных» пространств. Для Толстого движение крестьян на «вольные» земли — это стихийный процесс, здоровое проявление национальной мощи и сознания своего предназначения. В его построениях субъектность и историческая миссия крестьян реализуются независимо и от государственных институтов, и от высших слоев общества. Утверждение исследовательницы о том, что роман поддерживает идею «аграрной империи под присмотром поместной аристократии», мне кажется, подгоняет роман под тот процесс поселенческой колонизации, который она сама замечательно описала, акцентировав участие землевладельческой элиты в захвате башкирских земель. Такая интерпретация приписывает «Анне Каренной» более сильные имперские импликации, чем позволяет текст романа.

Я вовсе не ставлю своей задачей «отмыть» Толстого от имперского греха. Бояновская неопровержимо показала, что Толстой был замешан в российской политике в Башкирии и во многих отношениях оказался невосприимчив к ее колониальной природе. Но до какой степени его произведения поддерживают имперскую повестку — это совершенно другой вопрос, и мне кажется контрпродуктивным подверстывать мысли Левина к государственной модели поселенческого колониализма.

Я не нахожу в романе никаких подтверждений и попыткам Бояновской связать Алексея Каренина с политикой поселенческого колониализма. По ее мысли, Каренин фигурирует в романе как «неудачливый» управляющий поселенческой колонизацией и этническими меньшинствами. Каренин действительно вовлечен в два проекта, касающихся окраин империи. По его ведомству проходит «дело об орошении полей Зарайской губернии». Кроме того, в борьбе с «враждебным министерством» он занимается вопросом об «устройстве инородцев». Каренин так увлечен и задет за живое, что планирует сам «ехать на место», в «дальние губернии» для изучения «быта инородцев». Наверное, его можно назвать «управляющим этническими меньшинствами». Но в романе нет речи о том, что Каренин управляет поселенческой колонизацией. Как и в характеристике взглядов Левина, исследовательница произвольно расширяет имперскую повестку «Анны Карениной», придавая поселенческому колониализму больше веса, чем это позволяет сделать текст романа.

Как долго Толстой сохранял приверженность идее исторического предназначения русского народа к расселению? Выплеснулась ли за рамки 1870-х годов его вполне имперская романтизация крестьян как «завладевающей» силы? Какие-то отзвуки его размышлений о переселенческом движении докатились

до 1880-х, как видно по цитируемому Бояновской письму Толстого к жене в 1883 году из башкирской степи: «Дорогой видел много переселенцев, — очень трогательное и величественное зрелище» (LXXXIII, 377). Добавлю, что даже в 1890-е годы в дневниках Толстого мелькает замысел переселенческого романа, но писатель упоминает его вскользь и туманно (L, 317; LIII, 99; LIV, 341). Иногда у стареющего Толстого прорывается прежнее восхищение самарскими переселенцами. Так, в 1896 году он записывает в дневнике: «Очень живо представляются картины из жизни Самарской: степь, борьба кочевого патриархал[ьного] с землед[ельческим] культурным» (LIII, 99). Здесь Толстой почти буквально повторяет процитированные Бояновской свои собственные слова из письма Афанасию Фету 1875 года (LXII, 199). Но что именно он имел в виду в каждом из этих случаев, сопрягались ли его поздние размышления и замыслы с идеями 1870-х годов, совершенно не ясно. В течение десятилетий, последовавших за покупкой самарского имения, завершением «Анны Карениной» и недолгим периодом работы над обновленной, но незаконченной версией «Декабристов» (все это пришлось на 1870-е годы), прямых высказываний Толстого об историческом призвании русского крестьянства к расселению я не знаю. Бояновска тоже не приводит цитат такого рода, но, с ее точки зрения, Толстой сохранял приверженность этой идее. «Поразительно, но даже по мере того как росло толстовское неприятие частного землевладения, его вера в крестьянскую задачу освоения пустынных пространств не ослабевала». Предложенный исследовательницей анализ трактата «Так что же нам делать?» (1886), видимо, призван поддержать ее тезис. Как известно, в этом трактате Толстой подвергает фундаментальной критике деньги, институт частной собственности на землю, и политическую экономию как «воображаемую» науку, которая оправдывает закабаление работников землевладельцами. По контрасту с капиталистической эксплуатацией, Толстой рисует земледельческие общины, построенные на «справедливых» принципах самоорганизации, где люди сами устанавливают «разумные» и «естественные» основания производства (XXV, 250—251). Осмысляя эти суждения Толстого, Бояновска полагает, что писатель здесь идеализирует русское крестьянство, прежде всего поселенческую общину, и в то же время игнорирует катастрофическую реальность колонизации: «Капиталистическое накопление земли как капитала, беспощадная конкуренция, схемы обогащения, придуманные государственными чиновниками в сговоре с помещиками, все большее обнищание сельских пролетариев, и в основе всего этого колоссального колониального мошенничества — эксплуатация коренного населения: все это плохо сочеталось с описанными в трактате гипотетическими картинами крестьянской общины, мирно обрабатывающей землю под лучами благосклонного солнца, не принося никому вреда». Показательно, что Бояновска переводит слово *община* как *сottage* (стандартный английский перевод традиционной земельно-передельной крестьянской общины как фискальной единицы), а не как *community* (вольное сообщество). Между тем Толстой здесь явно имеет в виду вольные сообщества (*communities*) и употребляет слова *община* и *артель* как взаимозаменяемые синонимы. Более того, в этом трактате его меньше всего интересует российская специфика (культурная, хозяйственная, колониальная — какая угодно) или исключительные качества русских крестьян. Для него общины, основанные на согласии участников совместно трудиться, — наднациональный феномен, противовес капиталистическому производству. Лишь для начала Толстой упоми-

нает в качестве примера русских поселенцев, причем не дает им никаких уточняющих координат — ни пространственных (непонятно, где эти крестьяне «сели» на землю), ни хронологических («смотрю на русских поселенцев, которых миллион было и есть»). А затем Толстой утверждает: «Говоря о такой общине людей, я не фантазирую, а описываю то, что происходило всегда и происходит теперь не у одних поселенцев русских, а везде, пока не нарушено чем-нибудь естественное свойство людей. Я описываю то, что представляется каждому естественным и разумным» (XXV, 250). Когда Бояновска анализирует ситуацию в башкирской степи, она убедительно демонстрирует глухоту Толстого к обезземеливанию и эксплуатации кочевников. Но в трактате «Так что же нам делать?» нет ни одного намека на то, что изображенные Толстым земледельческие общины «сели» на башкирской земле или на любой другой территории, принадлежавшей подвластным России народам. И я не вижу здесь какой-то специальной идеализации русских крестьян, в отличие от нерусских. Мне кажется, упрекая Толстого в том, что он не отразил колониальный обман и эксплуатацию коренного населения в тех главах трактата, где обсуждаются сельскохозяйственные артели как антитеза капитализму, исследовательница вольно или невольно повышает градус дискуссии, увеличивает невосприимчивость писателя к проблемам колониализма, и тем самым «утяжеляет» его имперскую вину.

В целом статья Бояновской — впечатляющий, продуктивный и основательный опыт деконструкции. Я ей по-настоящему благодарна за эту работу. Но все-таки я не соглашусь с ее вердиктом: «...сознательное и добровольное участие [Толстого] в колонизации Башкирии ставит под вопрос его предполагаемый антиколониализм...» Мне представляется, что не только «Хаджи-Мурат» (проникнутый идеей личной и общерусской национальной вины и построенный на антиколониальной самоидентификации с завоеванными кавказскими народами), но и огромное множество других произведений и высказываний Толстого, с их прямой критикой империализма, выводят его антиколониализм из лиминальной зоны «предполагаемого». Да, рисуя башкирскую степь, Толстой проявлял глухоту к обезземеливанию кочевников. Да, сам не без греха, он воспользовался механизмом колониального обогащения. И замечательно, что Бояновска сумела распознать и вскрыть эти нарывы. Но невосприимчивость писателя к одним стратегиям имперского господства — к поселенческому колониализму — отнюдь не отменяет и не умаляет его радикальной критики других империалистических стратегий. И мне кажется не вполне правомерным считать, что Толстой осуждал русский империализм в основном в текстах о завоевании Кавказа — из этого тезиса исходит статья Бояновской, с него начинается и им завершается. В конце концов, развязка рассказа «Много ли человеку земли нужно?», смерть Пахома в башкирской степи, — это метафора саморазрушительного эффекта имперских appetitov. Конечно, можно упрекать Толстого за то, что в этом рассказе он написал о губительной колониальной жадности русского мужика, о разрушительных последствиях империализма для русских, а не для вытесняемых с их собственных земель башкир. Но нельзя отрицать, что такой способ критики колониализма тоже эффективен.

Статья Бояновской блестяще демонстрирует, что Толстой был вовлечен в социальные и культурные механизмы имперского доминирования в большей степени, чем предполагалось до сих пор. При всей неоспоримой ценности этой работы мне все-таки кажется, что многое в наследии писателя от нас

ускользает, если мы оперируем такими жесткими бинарными оппозициями, как колониальный/антиколониальный. Когда Бояновская обращается к рассказу «Ильяс» (1885) — притче о счастье, обретенном башкирами благодаря разорению, — она справедливо пишет о том, как резко мораль рассказа диссоциирует с событиями пореформенной эпохи: «...в то время, когда российская журналистика изображала башкир беспомощными жертвами колониального грабежа... придуманные Толстым башкиры нашли счастье в полном отсутствии собственности. Едва ли исследователю колониализма удастся найти более впечатляющий случай, когда влияние поселенцев на местное население так замалчивалось и скрывалось бы». Я думаю, однако, что здесь мы имеем дело не с сокрытием реальных обстоятельств, но с конструированием альтернативной реальности. Ильяс — это жрец той новой религии, которую проповедует Толстой. Отказ от собственности — идеал писателя — возможен для полукочевника Ильяса, но недостижим для графа Толстого, связанного по рукам и ногам семейными обязательствами. Как для Пушкина и Лермонтова «примитивные» культуры Кавказа символизировали свободу, недоступную русскому европейцу, так и для Толстого башкир воплощает недостижимую простоту и счастье бедности. Конечно, это романтическая конструкция, но она явно выдает личную драму Толстого. Достаточно сказать, что философию отказа от собственности формулирует в рассказе жена Ильяса. Она произносит исполненные мудрости слова, которые писатель тщетно надеялся услышать от Софьи Андреевны: «...были мы богаты, не было у нас с стариком часу покоя; ни поговорить, ни об душе подумать, ни Богу помолиться... Теперь встанем мы с стариком, поговорим всегда по любви, в согласьи, спорить нам не о чем... есть, когда поговорить, и об душе подумать, и Богу помолиться» (XXV, 34). Самоотжествление Толстого с Ильясом не отменяет колониальных коннотаций рассказа, но усложняет их и символически приближает Толстого к миру башкир, каким бы воображаемым этот мир не был. Если раньше Толстой восхищался «завладевающей» силой русского народа, то теперь его пленяет мудрость обнищавших мусульман. Повторюсь, Бояновская справедливо считает, что в рассказе угадывается глухота к страданиям подчиненного народа. Но когда мы жестко противопоставляем колониализм «настоящему антиколониализму» (как мы его понимаем в наши дни), исчезают характерные для Толстого сомнения в господствующей цивилизации, и картина получается черно-белой.

Возвращаясь к изначально заявленному вопросу, был ли автор «Хаджи-Мурата» колониальным землевладельцем, я бы предложила дифференцированный ответ. Да, был — но только был им задолго до того, как написал «Хаджи-Мурата». А вот Толстого в период интенсивной работы над этой повестью (1896—1904) вряд ли можно считать колониальным землевладельцем. И не только потому, что к тому времени он отказался от права собственности на самарское имение, но и потому, что идеи об исторической миссии русского народа «заселить огромные, незанятые пространства на востоке», остались, как мне представляется, в далеком прошлом автора «Хаджи-Мурата».